# Голубиные перья

# Джон Апдайк

Когда они переехали в Файртаун, то всю мебель переставили, передвинули, поменяли местами. Красный диван с плетеной спинкой, краса и гордость их гостиной в Олинджере, оказался слишком большим для тесной, узкой деревенской общей комнаты, его изгнали в сарай и накрыли брезентом. Никогда больше не валяться на нем Дэвиду в послеобеденные часы, лакомясь изюмом и читая детективы, научную фантастику, Вудхауса[[1]](#footnote-1). Синее мягкое кресло с высокой спинкой корытом, которое много лет простояло в стерильной, с привидениями, гостевой спальне, глядя сквозь кисейные с ткаными горошинами шторы на телефонные провода за окнами, на конские каштаны и дома напротив, здесь воцарилось перед маленьким закопченным камином, единственным в доме источником тепла в эти холодные дни только что наступившего апреля. Ребенком Дэвид боялся гостевой спальни — это в ней он увидел, когда болел корью, черную палку с ярд высотой, она прыгала, слегка склонившись к нему, вдоль края кровати, и, когда он закричал, исчезла, — и сейчас ему было неприятно, что один из свидетелей его тогдашнего страха нежится у огня, в самом сердце домашнего очага, залосниваясь от частого сидения. Книги, которые дома пылились в шкафу возле пианино, наспех рассовали без всякого порядка по полкам — плотники сколотили их вдоль одной из стен под окнами с широкими подоконниками. Дэвиду в четырнадцать лет было легче поддаться потоку движения, чем создать движение самому; он, как и перевезенная мебель, должен был найти здесь для себя место и, чтобы как-то начать осваиваться, во вторую субботу их жизни на ферме взялся разбирать книги.

Их выбор вызвал у него глухую скуку, это были в основном книги матери, собранные ею еще в юности, когда она училась в колледже: хрестоматии древнегреческих драматургов и английских поэтов-романтиков, «История философии» Уильяма Джеймса Дьюранта, тома Шекспира в сафьяновых переплетах, с ленточками-закладками, пришитыми к корешку; «Зеленые дворцы»[[2]](#footnote-2), иллюстриро­ван­ные гравюрами на дереве и в картонных коробках; «Я, тигр» Мануэля Комроффа[[3]](#footnote-3), романы Голсуорси[[4]](#footnote-4), Эллен Глазгоу[[5]](#footnote-5), Ирвина С. Кобба[[6]](#footnote-6), Синклера Льюиса[[7]](#footnote-7), Элизабет[[8]](#footnote-8). Вдохнув запах их поблекшего мира, Дэвид почувствовал пугающую пропасть между собой и родителями, оскорбительный разрыв во времени, которое существовало еще до того, как он родился. И ему вдруг захотелось окунуться в то, ушедшее, время. Из стопок книг, громоздящихся вокруг него на старых, вытертых досках пола, он вытянул второй том четырехтомных «Очерков истории» Герберта Уэллса[[9]](#footnote-9). Когда-то Дэвид прочел в одном из сборников его «Машину времени»[[10]](#footnote-10), так что автор был ему немного знаком. Корешок красного переплета выцвел до розовато-оранжевого. Он открыл обложку, и на него пахнуло сладковатым чердачным запахом; а на форзаце незнакомым почерком была написана девичья фамилия матери — смелая, без наклона, и в то же время аккуратная роспись, в ней было так трудно отыскать сходство с торопливыми, валящимися налево ломкими каракулями, которые с замечательным постоянством разбегались по ее спискам покупок, расходным книгам и рождественским открыткам подругам по колледжу, все из того же смутно пугающего далека.

Дэвид принялся листать страницы, рассматривая сделанные в старомодной технике тушью рисунки разных барельефов, масок, бюсты римлян с глазами без зрачков, античную одежду, осколки керамической посуды из раскопок. Все это неплохо смотрелось бы в журнале, подумал он, вперемежку с рекламой и комиксами, а так, в неразбавленном виде, от истории скулы сводит. Шрифт был решительный, четкий, ясный, как в учебнике; пожелтевшие по краям страницы, над которыми склонился Дэвид, казались ему прямоугольниками покрытого пылью стекла, сквозь которое он глядел на картины нереальных, давно изживших себя миров. Они вяло двигались под его взглядом, он чувствовал, как к горлу подступает тошнота. Мать и бабушка хлопотали в кухне; щенок, которого они только что завели, «чтобы был сторож в деревне», забился под стол и время от времени начинал там крутиться, отчаянно царапая пол когтями, — этот стол в их прежнем доме накрывали только по торжественным случаям, а здесь они за ним и завтракали, и обедали, и ужинали каждый день.

Глаза Дэвида рассеянно заскользили по строкам, где Уэллс рассказывает об Иисусе. Никому не известный политический агитатор, бродяжка в одной из второстепенных колоний Рима времен Империи, по какой-то случайности, которую сейчас невозможно восстановить, он (это «он» с маленькой буквы ужаснуло Дэвида) не умер на кресте и, вероятно, прожил еще несколько недель. Это недоразумение легло в основу религии. Легковерная фантазия современников задним числом приписала Иисусу разные чудеса и сверхъестественные деяния; миф распространялся все шире, и наконец возникла Церковь, доктрины которой в основе своей противоречили простому, близкому к коммунизму, учению галилеянина.

Будто камень, который уже много лет с каждым днем все тяжелее давил на нервы Дэвида, вдруг разорвал их и рухнул вниз сквозь страницу Уэллса и сквозь сотни страниц лежащих в кипе книг. В первый миг его испугала не эта кощунственная ложь — ну конечно же ложь, ведь всюду стоят церкви, их страна была основана с благословения Господа, — его испугало то, что такому вообще было позволено родиться в человеческом мозгу. В какой-то точке времени и пространства возник ум, омраченный неверием в божественность Христа, и ничего, Вселенная не исторгла из себя это исчадие ада, она позволила ему богохульствовать и дальше, позволила дожить до старости, стяжать почести и славу, носить шляпу, писать книги, которые, если только в них правда, обращают жизнь в хаос и ужас, — вот что сразу же ошеломило его. Мир за окнами с широкими подоконниками — бугристый газон, беленый сарай, каштан в пене молодой зелени — казался раем, из которого он навсегда изгнан. Лицо горело, будто обожженное.

Он снова перечел этот абзац. В глубинах своего невежества он искал опровержений, которые бы отразили самодовольную атаку этих черных слов, и не находил ни одного. Каждый день в газетах рассказывают о воскресениях куда более невероятных, разъясняются самые фантастические недоразумения. Но ни из-за одного из них не строят во всех городах церкви. Дэвид попытался вернуться вместе с церквами вспять, пробиться сквозь их высокие горделивые фронтоны, сквозь бедные запущенные внутренние помещения к тем далеким событиям в Иерусалиме, и почувствовал, что его окружили беспокойные серые тени, столетия истории, о которых он не знал ничего. Опровержения рассыпались в прах. Разве Христос когда-нибудь приходил к нему, Дэвиду Керну, разве говорил: «Вот, вложи свои персты в Мою рану»? Нет. Однако его молитвы не оставались без ответа. Но что это были за молитвы? Он молился о том, чтобы Руди Мон, которому он подставил ножку и тот ударился головой о радиатор, не умер, и Руди не умер. Крови было много, но он всего лишь рассек кожу; его в тот же день выпустили из больницы с забинтованной головой, и он снова принялся дразнить Дэвида. Конечно, он бы и так не умер. Еще раз Дэвид молился, чтобы два разных военно-патриотических плаката, которые он заказал отдельно, пришли бы завтра, и они пришли, правда не завтра, а через несколько дней, но все равно одновременно, упали через лязгнувшую крышкой щель в двери, точно упрек из уст Господа: «Я отвечаю на твои молитвы так, как Мне угодно и когда Мне угодно». После этого Дэвид стал молиться о чем-то менее конкретном, чтобы ответ не превратился в нагоняй. Однако какое это пустяшное, смехотворное совпадение, его ли противопоставить могучему оружию знаний, которым владеет Герберт Уэллс! Оно лишь доказывает правоту противника: надежда на зыбкой песчинке возведет гигантское здание; там, где черкнули закорючку, она увидит слово.

Вернулся отец. Суббота была у него свободный день, но он все равно ездил работать. Он преподавал в школе в Олинджере и с утра до вечера суетился, делая какие-то ненужные дела с забавно заполошным видом. Городской человек, он к тому же боялся фермы и пользовался любым предлогом, чтобы улизнуть из дома. На ферме родилась мать Дэвида, она же и задумала ее выкупить. Проявив невиданную доселе изобретательность и упорство, она добилась своего и перевезла их всех сюда — своего сына, мужа, мать. В молодости бабушка трудилась на этих полях наравне с мужем, а сейчас она бестолково топталась на кухне, и руки у нее тряслись от паркинсоновой болезни. Она вечно всем мешала. Странно, но здесь, вдали от города, на восьмидесяти принадлежащих им акрах земли они постоянно теснились друг подле друга. Томясь своей неприкаянностью, отец нескончаемо спорил с матерью по поводу органического земледелия. Весь вечер, весь ужин напролет только и слышалось:

— Элси, я знаю, знаю, что земля всего лишь соединение химических элементов. Это единственное, что я понял, проучившись четыре года в колледже, поэтому не надо говорить, что я не прав, ведь это моя профессия.

— Джордж, ты выйди из дому, пройдись по полю, и ты поймешь, что действительно не прав. У земли есть душа.

— Никакой-души-у-земли-нет, — раздельно произнес он, будто вдалбливал урок тупым ученикам. Потом обратился к Дэвиду: — Никогда не спорь с женщиной. Твоя мать настоящая женщина, поэтому я и женился на ней и вот теперь страдаю.

— У этой земли и в самом деле нет души, — сказала мать, — ее убили суперфосфатом. Арендаторы Бойера вытравили здесь все живое. — (Бойер был богатый землевладелец, у которого они выкупили ферму.) — А раньше у нее душа была, правда, мама? Когда вы с папой на ней работали?

— Да, да, как не быть. — Бабушка силилась поднести ко рту вилку рукой, которая тряслась не так сильно. От старания она подняла с колен другую руку. Корявые неразгибающиеся пальцы, серовато-красные в оранжевом свете керосиновой лампы, стоящей в центре стола, были скрючены параличом в узловатую культю.

— Душа есть только у че-ло-ве-ка, — продолжал отец тем же нудным металлическим голосом. — Потому что так сказано в Библии. — Кончив есть, он закинул ногу на ногу и, болезненно сморщившись, принялся ковырять в ухе спичкой; стараясь извлечь то, что находилось внутри, он уткнулся подбородком в грудь, и, когда обратился к Дэвиду, его голос прозвучал тихо: — Когда Господь сотворил твою мать, Он сотворил истинную женщину.

— Джордж, ты что, не читаешь газет? Не знаешь, что через десять лет химические удобрения и ядохимикаты убьют нас всех? Все без исключения мужчины в Америке старше сорока пяти умирают от инфаркта.

Отец устало вздохнул; он больно надавил спичкой, и желтая кожа вокруг его глаз съежилась в мелкие морщинки.

— Между инфарктом и химическими удобрениями не существует никакой связи, — с мученическим терпением объяснил он. — Во всем повинен алкоголь. Алкоголь и молоко. В сердечных тканях американцев слишком много холестерина. И не говори со мной о химии, Элси, я на нее четыре года ухлопал.

— А я ухлопала четыре года на греческий, и что толку? Мама, убери ты ради бога со стола свою культю.

Старуха вздрогнула, кусок упал с вилки. Почему-то вид ее изуродованной руки на столе нестерпимо раздражал дочь. Бабушкины глаза — тусклые безумные кристаллики в чём-то водянистом, мутно-молочном — сделались огромными за стеклами криво сидящих очков. Круги серебряной оправы, тонкой, как проволочка, вдавились в красную бороздку, которую они за много лет вырыли в переносице бледного острого носа. В мигающем оранжевом свете керосиновой лампы ее оцепеневшее страдание казалось нечеловеческим. Мать Дэвида беззвучно заплакала. У отца словно бы и вовсе не было глаз, вместо них желтые морщинистые провалы. Над столом поднимался пар от еды. Это было ужасно, но ужас был знакомый, привычный, он отвлекал Дэвида от той бесформенной жути, которая пульсировала в нем острой болью, точно огромная рана, которая хочет затянуться.

Ему нужно было в уборную, он взял фонарик и пошел с ним по мокрой траве. Его всегдашняя боязнь пауков показалась ему сейчас смешной. Он поставил горящий фонарик рядом, и на линзу тут же село какое-то насекомое, совсем крошечное, комар или блоха, что-то хрупкое и ажурное, слабые лучи фонарика высветили на дощатой стене его рентгеновский снимок: еле различимые очертания прозрачных крыльев, размытые от многократного увеличения черточки согнутых в суставах ног, темный конус туловища. А этот трепет, должно быть, биение его сердца. И вдруг без всякой связи Дэвиду ясно представилась картина смерти: длинная узкая яма в земле, тебя в нее затягивает, и бледные лица наверху отдаляются, отдаляются... Ты рвешься к ним, но руки связаны. Лопаты кидают тебе в лицо комья земли. Там ты и останешься во веки веков, будешь рваться вверх, слепой, безгласный, пройдет сколько-то времени, и никто уже тебя не вспомнит, не позовет. От движения горных пород твои пальцы начнут вытягиваться, зубы широко раздвинутся в огромной подземной гримасе, неразличимой в пластах мела. А Земля так и будет продолжать свой путь, погаснет Солнце, там, где когда-то сияли звезды, навеки воцарится тьма.

У Дэвида вспотела спина. Его мысль словно бы уперлась в некую неодолимость. Такое полное уничтожение не просто испугало, потрясло его, пронзило болью, нет, оно вызвало совсем иные чувства. Ведь этот образ не мог возникнуть в его мозгу сам по себе, он проник туда извне. Бунтующие нервы пытались оплести его поверхность, точно лишайник, который расползается по телу метеорита. Дэвид с такой страстью отвергал эту идею всеобщей гибели, что по его груди катился пот. Страх, густой и плотный, заполнял его изнутри, и такой же густой и плотный страх окружал его снаружи; прах прибоем вознесся к звездам, пространство сплющилось в неразделимую массу. Когда Дэвид встал, машинально втянув голову в плечи, чтобы не попасть в паутину, он почувствовал, что все тело онемело, будто он все это время был сдавлен жесткими обложками внутри книги. Его удивило, что он может двигаться хотя бы в этом крошечном пространстве. Застегивая брюки в зловонной тесноте отхожего места, он ощутил, что слишком мал, такую малость невозможно раздавить — это был первый проблеск утешения.

Но во дворе, когда луч фонарика с торопливым испугом забегал по стенам сарая, по винограднику, осветил огромную сосну, что росла у тропинки, ведущей к лесу, ужас вернулся. И Дэвид помчался по цепляющейся за ноги высокой траве, преследуемый не дикими зверями, которые, может быть, жили в лесу, и не лесными духами, о которых суеверная бабушка рассказывала ему в детстве, а существами из научной фантастики, где гигантская пепельная луна закрывает половину бирюзового неба. Дэвид бежал, а по пятам за ним неслась серая планета. Если он оглянется, ему смерть. Ужас уже душил его, и тут из пустоты вырвались на свободу отвратительные кошмары, созданные человеческим воображением: солнце увеличивается до размеров Вселенной, все живое на земле погибло, остались лишь насекомые, по берегу океана ползут крабы из «Машины времени», — и еще сильнее сгустили мрак надвигающегося на него небытия.

Он рывком распахнул дверь. Керосиновые лампы в доме ярко вспыхнули. Горящие в нескольких местах фитили словно бы отражали друг друга, как в зеркале. Мать мыла посуду в миске с подогретой водой, которую накачали насосом; бабушка боязливо трепетала у ее локтя. В гостиной — нижний этаж их маленького квадратного дома был разделен на две длинные комнаты — перед черным камином сидел отец и, нервно сворачивая и разворачивая газету, развивал свои аргументы:

— Азот, фосфор, калий — вот три возобновляемых компонента почвы. Один урожай пшеницы забирает из нее сотни фунтов... — он бросил газету на колени и стал загибать пальцы, — азота, фосфора, калия.

— Бойер не выращивал пшеницу.

— Урожай любой культуры, Элси. Человек...

— Джордж, но это же значит убить земляных червей!

— Человек, тысячелетиями возделывая землю, научился поддерживать баланс химических элементов в почве. А ты хочешь вернуть меня в Средневековье.

— Когда мы поселились в Олинджере, земля возле дома была как камень. Всего одно лето мы удобряли ее куриным пометом с фермы моего двоюродного брата, и в ней появились земляные черви.

— Уверен, несчастные, которым выпало жить в Средние века, ничего не имели против своего времени, но лично я туда не хочу, увольте. От одной мысли в дрожь бросает. — Отец невидяще глядел в холодную черную топку камина и сжимал руками свернутую в трубку газету, как будто только она и не позволяла ему сорваться в прошлое, провалиться вглубь, вниз.

К двери подошла мать, потрясая зажатым в кулаке пучком мокрых вилок:

— Да, конечно, благодаря твоему ДДТ скоро в стране не останется ни одной пчелы. А когда я была девочкой, персики можно было есть немытые.

— Ужасно примитивно, Элси. Опять Средневековье.

— Господи, да ты-то что знаешь о Средневековье?

— Знаю, что не хочу туда возвращаться.

Дэвид взял с полки положенный им сегодня туда огромный полный «Словарь» Вебстера, который принадлежал еще дедушке, и стал переворачивать большие тонкие страницы, прогибающиеся, как ткань. Наконец нашел слово, которое искал, и стал читать:

«Душа... 1. Сущность, почитающаяся сутью, смыслом, побудительной основой и движущей силой жизни, человеческой жизни, в особенности жизни, проявляемой в психической деятельности; жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа». Дальше рассказывалось о том, что понимали под душой древние греки и египтяне, но Дэвид не ступил на зыбкую почву античных учений. Из этих осторожных, уточняющих друг друга слов он выстроил себе временное убежище. «Отдельно от тела и от духа» — можно ли сказать точнее, правильнее, убедительней?

Отец говорил:

— Современный фермер не может ходить следом за коровами и подбирать их лепешки. У бедняги на руках тысячи — тысячи! — акров. Современный фермер использует смеси азота, калия и фосфора в нужных пропорциях согласно рекомендациям ученых, причем вносит их в землю с помощью замечательной современной техники, которая нам, естественно, не по карману. А современному фермеру не по карману средневековые методы.

Мать в кухне молчала, ее молчание накалялось гневом.

— Нет-нет, Элси, сейчас твои женские штучки не пройдут. Поговорим спокойно, как разумные люди, живущие в двадцатом веке. Твои одержимые проповедники органического земледелия воюют вовсе не с химическими удобрениями, их возмущают доходы гигантских фирм, которые производят удобрения.

В кухне звякнула чашка. Гнев матери дохнул Дэвиду в лицо, его щеки запылали виной. Лишь потому только, что он сидел в гостиной, он словно бы поддерживал позицию отца. Мать возникла в дверях, с покрасневшими руками, с мокрым от слез лицом, и сказала, обращаясь к ним обоим:

— Я знала, что вы не хотите сюда переезжать, но что вы будете так меня мучить! Ты своими разговорами свел папу в могилу, теперь взялся за меня. Давай, Джордж, смелей, желаю успеха. По крайней мере меня похоронят в неотравленной земле. — Она повернулась, но наткнулась на препятствие и взвизгнула: — Мама, да перестань ты топтаться у меня за спиной! Шла бы наконец спать!

— Всем нам пора спать. — Отец поднялся с синего кресла и похлопал себя по ноге свернутой газетой. — Кстати, самое время подумать о смерти.

Дэвид так часто слышал эти его слова и никогда не вдумывался в их смысл. Наверху страх как будто отпустил его. Белье на постели было чистое. Бабушка выгладила его двумя утюгами, которые нашли на чердаке в Олинджере и привезли сюда; утюги были портновские, с деревянной ручкой, они грелись на плите, и бабушка брала то один, то другой. Удивительно, как ловко она с ними управлялась. В соседней комнате мирно переругивались родители; наверное, они относились к своим ссорам не так серьезно, как он. Они ходили с ночником по спальне, пол под их ногами уютно поскрипывал. Их дверь была неплотно закрыта, и он видел, как свет перемещается. Да, конечно же, в последние минуты, в последний миг перед ним в темноте обрисуется светлым контуром дверь в другое пространство, полное света. Эта мысль вызвала у него невыносимо яркую картину собственной смерти: он увидел комнату, в которой лежит на кровати, пестрые обои, услышал свое резкое свистящее дыхание, шепот врачей, взволнованные родные входят и выходят, но ему уже никогда отсюда не выйти, его вынесут мертвым, положат в землю, в могилу, зароют. *Никогда больше не открывай эту дверь.* Родители еще пошептались, потом свет у них погас. Дэвид стал молиться, чтобы ему был послан знак. Он и сам испугался того, что задумал, однако протянул руки вверх, в темноту, и попросил Господа прикоснуться к ним. Не надо долгого и сильного пожатия, легчайшее мгновенное касание даст ему веру на всю жизнь. Его руки ждали в воздухе, и воздух сам был сущностью и словно бы обтекал его пальцы. Или это была пульсация его собственной крови? Он спрятал руки под одеяло, так и не поняв, случилось прикосновение или нет. Но ведь божественное касание и должно быть неощутимо легким?

Барахтаясь среди обломков своей катастрофы, Дэвид цеплялся за воспоминание о той, по сути своей иной, неодолимости, в которую уперлась его мысль тогда, в уборной, о твердыне ужаса, незыблемой и потому способной выдержать сооружение сколь угодно высокое. Ему бы сейчас чуточку помощи; одно только слово, ободряющий жест, кивок головой — и он избавлен, спасен. За ночь поддержка, которую ему дал словарь, улетучилась. Сегодня было воскресенье, жаркий солнечный день. В прозрачном воздухе плыл колокольный звон, церковь в миле от них сзывала к службе. Поехал только отец. Все с той же мученически-суетливой непреклонностью он надел пиджак на рубашку с закатанными рукавами, сел в стоящий возле сарая старенький черный «плимут» и уехал. Он слишком рано перешел на вторую скорость и дал газ, колеса забуксовали на их проселочной дороге, из-под них полетели фонтаны рыжей пыли. Мать пошла посмотреть, где нужно подстричь живую изгородь вокруг дальнего поля. Дэвид пошел с ней, хотя обычно предпочитал оставаться дома. Чуть поодаль за ними ковылял щенок, он жалобно скулил, пробираясь по колючему былью, но, когда его брали на руки, пугливо вырывался. Вот они поднялись на пригорок дальнего поля, и мать спросила:

— Дэвид, ты чем-то расстроен?

— Нет. С чего ты взяла?

Она пристально посмотрела на него. Над ее сильно поседевшими волосами сквозил одевающийся зеленью лес. Она повернулась к Дэвиду в профиль и протянула руку в сторону дома, до которого было около полумили.

— Видишь, как он стоит на земле? Теперь разучились ставить дома. Папа говорил, раньше всегда намечали фундамент по компасу. Надо нам найти компас и проверить. Фасад должен смотреть прямо на юг. Но юг, по-моему, чуть левее.

Дэвид смотрел на нее сбоку, и она показалась ему молодой и красивой. Гладкое полукружье волос над ухом белело целомудренно и безмятежно, и это было так необычно, незнакомо. Он никогда не ждал, что родители утешат его в беде; ему с самого начала представлялось, что у них больше бед, чем у него. Их растерянность вызывала у него такую лестную иллюзию собственной силы, и потому сейчас, на этом залитом солнцем пригорке, он ревниво оберегал подступающую со всех сторон угрозу, которую ощущал кончиками пальцев, как ощущают ветер, — угрозу, что весь этот широкий простор канет во тьму. Мать пришла сюда посмотреть разросшиеся кусты, но не взяла с собой секатор, потому что была неискоренимо убеждена — работать в воскресенье грех; и это было единственное утешение, которое он позволил себе принять от нее.

Они повернули домой, все так же провожаемые скулящим щенком, и по дороге увидели за дальними деревьями поднимающуюся пыль: это отец спешил домой из церкви. Когда они вошли в дом, он уже был там. Он привез воскресную газету и возмущенное наблюдение:

— Добсон слишком умен для этих тупых фермеров. Сидят с разинутыми ртами и ни слова не понимают.

— Почему ты считаешь, что фермеры тупые? Фермеры создали Америку. Джордж Вашингтон был фермером.

— Они тупые, Элси. Ту-пы-е. А Джордж Вашингтон умер. В наше время работать на земле остались одни только обиженные судьбой. Хромые, слепые, однорукие, увечные. Слабоумные калеки. Отбросы человечества. Как тут не задуматься о смерти — сидят себе с разинутыми ртами.

— Мой папа был фермер.

— Элси, твой отец был неудачник. Он не нашел своего места в жизни. Бедняга был полон благих намерений, но в делах ничего не смыслил. Твоя мама подтвердит. Верно я говорю, ма? Па ведь так и не нашел своего места в жизни?

— Да, да, как не найти, — проговорила бабушка дрожащим голосом, и спорящие на миг умолкли, не поняв ответа.

До половины второго Дэвид прятался в комиксах и спортивных новостях. В два часа в файртаунской церкви начинался урок катехизиса. Дэвиду пришлось перейти сюда из лютеранской церкви в Олинджере, это было ужасно унизительно. В Олинджере ребята встречались в среду по вечерам, радостно взволнованные, принаряженные, как на танцы. Когда урок кончался и священник с кирпичным лицом, из уст которого слово «Христос» падало, точно кусок раскаленной серы, благословлял их, самые храбрые отправлялись со своими библиями в кафе и курили. Здесь же, в Файртауне, девочки были похожи на вялых белых коров, мальчики с длинными физиономиями, в отцовских костюмах, — на рыжих козлов, их всех сгоняли в воскресенье после полудня в подвал давно не ремонтированной церкви, где затхло пахло прелым сеном. Отец опять уехал на машине по каким-то своим нескончаемым делам в Олинджер, и Дэвид пошел пешком, радуясь вольному простору и тишине. Обычно он чувствовал себя неловко на уроке в воскресной школе, но сегодня шел в церковь с надеждой: ведь там он сможет увидеть тот самый наклон головы, жест ободрения, только это ему сейчас и нужно.

Преподобный Добсон был тщедушен и молод, с большими темными глазами и маленькими белыми красивыми ручками, которые во время проповеди так и мелькали в воздухе, точно растревоженные голуби; среди лютеранского духовенства он был немножко белой вороной. Этот приход был его первым назначением, он состоял из двух частей: отец Добсон служил еще в одной сельской церкви в двенадцати милях отсюда. Его радужно переливающийся зеленый «форд», такой новый полгода назад, был по самые стекла заляпан красной глиной и весь дребезжал от езды по ухабистым проселкам, на которых Добсон часто сбивался с пути, доставляя своей пастве повод для злорадства. Но матери Дэвида священник нравился и, что значительно важнее для его карьеры, нравился процветающему семейству Эйеров, которое торговало комбикормами и тракторами, содержало гостиницы и задавало тон в файртаунской церкви. Дэвид ему тоже симпатизировал и чувствовал ответную симпатию; случалось, в классе, услышав особенно вопиющую глупость, Добсон с кротким изумлением обращал к нему взгляд своих широко раскрытых черных глаз, этот взгляд и льстил Дэвиду, и смутно беспокоил.

Урок катехизиса состоял из зачитывания вслух правильных ответов из учебной брошюры на вопросы домашнего задания, например, «Я есмь...», сказал Господь». После этого должны были задавать вопросы ученики, но никто никаких вопросов никогда не задавал. Сегодняшняя тема была: последняя треть апостольского Символа веры. Когда наступило время вопросов, Дэвид покраснел и спросил:

— Я по поводу воскрешения во плоти: наше сознание продолжает жить между нашей смертью и днем Страшного суда?

Добсон быстро взглянул на Дэвида и сжал пухлые детские губки, всем своим видом показывая, что тот еще больше запутывает и без того непонятное. На физиономиях учеников выразилось замешательство, как будто было произнесено нечто непристойное.

— Я полагаю, нет, — сказал преподобный Добсон.

— А где же в таком случае находится все это время наша душа?

Ребята уже были почти уверены, что Дэвид издевается. Робкие глаза Добсона увлажнились — видно, он изо всех сил старался сохранить дисциплину в классе. Одна из девочек ухмыльнулась своей сестре-близняшке, чуть менее толстой. Стулья, на которых они сидели, были поставлены не слишком ровным кругом. Ток, пробежавший по этому кругу, вызвал у Дэвида панику. Неужели все они знают что-то, чего не знает он?

— Полагаю, можно сказать, что наши души спят, — сказал Добсон.

— А потом они проснутся и увидят землю, такую же как всегда, и всех людей, которые на ней жили? А где же Царствие Небесное?

Анита Эйер захихикала. Добсон строго смотрел на Дэвида, но в его взгляде неловко, изумленно трепетало прощение, как будто между ними существовал тайный уговор и вот теперь Дэвид его нарушил. Но Дэвид не заключал никакого тайного уговора, он всего лишь хотел услышать слова, которые Добсон повторял каждое воскресенье, а Добсон отказывался их произнести, как будто в обычном простом разговоре на них наложен запрет.

— Дэвид, Царствие Небесное можно представить себе, например, как добро, которое сотворил Авраам Линкольн и которое продолжает жить после его смерти.

— А Линкольн знает, что оно продолжает жить? — Теперь лицо Дэвида горело не от смущения, а от злости, ведь он пришел сюда с открытой душой, а над ним потешаются.

— Знает ли он об этом сейчас? Я вынужден сказать, что нет, не знает. Но я думаю, это не имеет значения. — В голосе Добсона была решимость труса, теперь он говорил враждебно.

— Не имеет значения?

— Да, в глазах Господа это не имеет никакого значения.

Какое елейное ханжество, какое вопиющее бесстыдство! Слезы негодования обожгли глаза Дэвида. Он опустил их в книгу, где из простых слов, как, например, «Долг», «Вера», «Добро», «Труд», складывался крест.

— Ты хотел еще о чем-то спросить, Дэвид? — Голос Добсона обрел прежнюю мягкость. Остальные ученики поднимались со стульев, складывали книги.

— Нет. — Он заставил себя произнести это твердо, но глаз поднять не мог.

— Я дал исчерпывающий ответ на твой вопрос?

— Да.

Священник замолчал, и стыд, который он должен был бы сейчас испытывать, вполз в душу Дэвида: на него, невинного, взвалили бремя и муки обманщика, и то, что он не смел взглянуть в глаза Добсону, когда выходил из церкви, хотя тот сверлил его череп сбоку беспокойным взглядом, было словно бы признанием вины, он это знал.

Отец Аниты Эйер подвез его по шоссе до их проселка. Дэвид сказал, что дальше пойдет пешком, ему хочется пройтись, и мистер Эйер не стал настаивать, он не хотел, как догадался Дэвид, чтобы его блестящий синий «бьюик» покрылся пылью. Что ж, он не в обиде; он вообще ни на кого не в обиде, если только с ним по-честному. Оттого что его предали, предали на его глазах христианскую религию, он ожесточился. И теперь шагал по удивительно твердой прямой немощеной дороге. Из ее укатанной поверхности выступали розоватые камешки. Апрельское солнце сияло в центре послеполуденной половины неба, оно уже припекало по-летнему. И трава по обочинам дороги успела порыжеть от пыли. С полей, между которыми он шел, из оживающих сорняков и прошлогоднего былья неслось монотонное, механическое стрекотание насекомых. Вдали по опушке двигалась маленькая фигурка в отцовском пиджаке. Его мать. И он подумал: неужели эти прогулки доставляют ей радость? У него вид этих рыжих просторов медленно поднимающейся и опускающейся земли вызывал тоскливое изнеможение.

Раскрасневшаяся от свежего воздуха, счастливая, она вернулась с прогулки раньше, чем он ее ждал, и застала его врасплох за дедушкиной Библией. Библия была толстая, в черном переплете, обложка стерлась в руках деда, корешок держался на ветхой полоске ткани. Дэвид искал то место, где Иисус говорит одному из распятых разбойников: «Ныне же будешь со Мною в Раю»[[11]](#footnote-11). Он никогда раньше не пытался сам читать Библию. И сейчас так сильно смутился, увидев мать, потому что возненавидел антураж религии. Затхлая духота церквей, гнусавое пение, некрасивые учителя воскресных школ, их глупые брошюрки — все вызывало у него тошноту и, однако, поддерживало веру, веру в то, что самое лучшее и стоящее в жизни, баскетбол, веселые розыгрыши, девочки с дерзкими грудками, существует благодаря дичайшей несообразности, какой, например, был бы брак между прекрасным принцем и самой безобразной и старой каргой, какую только смогли отыскать в его королевстве. Но матери он этого объяснить не мог. Времени не было. Она обрушила на него свою заботу:

— Дэвид, что ты делаешь?

— Ничего.

— Почему ты взял дедушкину Библию?

— Хотел почитать. Америка вроде бы христианская страна?

Она села на зеленый диван, который у них в Олинджере стоял в парадной гостиной, под фигурным зеркалом. На ее лице все еще играла легкая улыбка, оставшаяся после прогулки.

— Дэвид, я хочу, чтобы ты поговорил со мной.

— О чем?

— О том, что тебя тревожит. Мы с папой это видим.

— Я спросил преподобного Добсона, что такое Царствие Небесное, а он ответил, что это все равно как сотворенное Авраамом Линкольном[[12]](#footnote-12) добро, которое живет после его смерти.

Он думал, она возмутится до глубины души, а она спросила, ожидая продолжения рассказа:

— И что же?

— Больше ничего.

— И почему тебе не понравилось такое объяснение?

— Почему? А ты сама разве не понимаешь? Да это все равно что сказать, что никакого Царствия Небесного не существует.

— Я с тобой не согласна. А как ты сам представляешь себе Царствие Небесное?

— Откуда мне знать. Но должно же там быть хоть что-то. Я думал, он расскажет мне. Думал, это его работа.

Он чувствовал, что она удивлена, и начал сердиться. А ей-то казалось, что он и думать забыл про Царствие Небесное, тайно вступил в молчаливый заговор, существующий, как он теперь понял, вокруг него.

— Дэвид, — ласково сказала она, — неужели тебе никогда не хочется покоя?

— Вечного? Нет.

— Дэвид, ты еще так молод. Когда ты станешь старше, ты будешь относиться ко всем этим вещам иначе.

— Дедушка не относился к ним иначе. Видишь, какая истрепанная книга.

— Я никогда не понимала твоего дедушку.

— А я не понимаю священников, которые говорят, что Царствие Небесное — это все равно что добрые дела Линкольна, которые живут после его смерти. А если ты не Линкольн?

— Мне кажется, преподобный Добсон совершил ошибку. Постарайся его простить.

— При чем тут Добсон и его ошибки, разве в них суть? Суть в том, что я умру и никогда больше ничего не увижу, не услышу, не пошевельнусь.

— Но... — Она недовольно нахмурилась. — Милый мой, нельзя же быть таким жадным. Господь даровал нам этот изумительный апрельский день, даровал эту ферму, у тебя впереди целая жизнь...

— Так, значит, ты думаешь, Бог есть?

— Конечно есть... — Она вздохнула с глубоким облегчением, черты лица разгладились, наполнился покоем его овал.

Дэвид уже давно встал и теперь стоял в опасной близости от нее. Вдруг она протянет руку и дотронется до него?

— Всё сотворил Он? Ты в это веришь?

— Да.

— А кто же сотворил Его?

— Как — кто? Человек! — Ответ был так прекрасен, что лицо ее засияло от счастья, но вдруг она увидела, что сын с отвращением передернул плечами. До чего же она наивна, нелогична; настоящая женщина.

— Что ж, ты, по сути, сказала, что никакого Бога нет.

Она хотела взять его за руку, но он отстранился.

— Дэвид, это таинство. Чудо. И чудо такое прекрасное, что никакой преподобный Добсон не способен рассказать тебе о нем. Ты же не станешь отрицать, что домá существуют только потому, что их построил человек.

— Бог не домá, тут совсем другое.

— Ах, Дэвид, взгляни на солнце, на эти поля. Это ли не доказательство?

— Господи, мама, да неужели ты не понимаешь... — голос у него срывался, в горле стоял ком, — если, когда мы умрем, ничего больше не будет, то все твое солнце, и твои поля, и всё-всё на свете — один сплошной ужас? Черный, нескончаемый ужас!

— Нет, нет, Дэвид, никакого ужаса нет. Это же так очевидно.

Она порывисто протянула к нему руки, и в этом жесте было не только желание принять его беспомощность, но и вся ее душевная щедрость, вся нежность, любовь к прекрасному, сплавленные в такой покорной страстности, что Дэвида пронзила страстная ненависть к ней.[[13]](#footnote-13) Нет, он не позволит увлечь себя в сторону от истины. «Я есмь Путь, Я есмь Истина...»[[14]](#footnote-14)

— Не надо, — сказал он. — Оставь меня.

Он отыскал в углу за пианино свой теннисный мяч и пошел за дом кидать его об стену. В верхней части стены отваливалась рыжая штукатурка, обнажая каменную кладку, и он целился мячом именно туда, стараясь каждым ударом отбить еще кусок. На его глубинную боль наложилась не такая мучительная, но свежая травма: он расстроил мать. С шоссе донеслось тарахтение отцовского автомобиля, и Дэвид пошел в дом помириться до его возвращения. К счастью, от нее не исходили жаркие, удушающие волны гнева, она была спокойна, тверда, матерински заботлива. В ее руках была растрепанная зеленая книга — хрестоматия, по которой она в колледже изучала Платона.

— Я хочу, чтобы ты прочел аллегорию о пещере, — сказала она.

— Ладно, — согласился он, хоть и знал, что толку никакого не будет. Какой-то давно умерший грек сочинил что-то маловразумительное, она, конечно, в восторге. — Ma, да ты не беспокойся обо мне.

— Как же не беспокоиться? Поверь мне, Дэвид, мы не исчезнем вовсе, я в этом убеждена. Но с годами это перестает занимать нас так сильно.

— Возможно. Но утешительного тут мало.

Отец ломился в дверь. Все двери здесь перекосились, замки заедало. Бабушка заковыляла было отодвинуть задвижку и впустить его, но он уже открыл дверь плечом. Он ездил в Олинджер устраивать соревнования по легкой атлетике между школами. Обычно мать никого не посвящала в свои разговоры с Дэвидом, эта драгоценность принадлежала только им, но сейчас сразу же громко крикнула:

— Джордж, Дэвид боится смерти!

Отец подошел к двери гостиной, нагрудный карман рубашки ощетинился карандашами, в одной руке коробка с пинтой тающего мороженого, в другой нож, которым он собирался разрезать мороженое на четыре части — их воскресное лакомство.

— Ребенок испугался смерти, говоришь? Дэвид, выкинь ты эти глупости из головы. Бог знает, доживу ли я до завтра, и мне ничуть не страшно. Лучше бы меня вообще пристрелили в колыбели. Легче бы дышалось на земле. По-моему, смерть отличная штука. Черт, да я ее жду не дождусь. Прочь с дороги ненужный хлам. Если бы здесь был человек, который изобрел смерть, я бы наградил его медалью.

— Перестань, Джордж. Ты только пуще перепугаешь ребенка.

Неправда, отец не мог испугать Дэвида. Он никого не мог испугать, он был такой безобидный. И в этом его самобичевании сын словно бы ощущал поддержку союзника, хоть и не слишком явного. Он уже с долей спокойствия, как стратег, оценивал свою позицию. В мире людей ему не услышать ни слова поддержки, не найти улыбки ободрения, которые так нужны ему, чтобы начать строить крепость для войны со смертью. Люди не веруют. Он совсем один. Один в этой глубокой яме.

Шли месяцы; его настроение почти не менялось. В школе было немного легче. Волнующе-привлекательные, пахнущие духами девочки, беспрерывно острящие ребята, все смеялись, жевали жевательную резинку — и все обречены умереть, но никто о смерти не думает. Когда Дэвид был в их компании, ему казалось, что они возьмут его с собой в уготованный им яркий, мишурный рай. В толпе страх немного отступал; он убеждал себя, что где-то на земле непременно должны существовать несколько человек, которые веруют так, как нужно, и чем больше толпа, тем верней надежда, что родная душа близко, она может даже услышать тебя, вот только уметь бы ее распознать, ведь он ничего не умеет, не понимает. При виде священников он приободрялся, что бы они там сами про себя ни думали, их воротнички были по-прежнему знаком того, что где-то когда-то кто-то признал: мы не можем — не можем! — подчиниться смерти. Вывешенные перед входом в церковь листочки с темами проповедей, развязная, торопливая набожность диск-жокеев, комиксы в журналах, где изображались ангелы и черти, — вот какими крохами питалась его надежда, что надежда есть.

Все остальное время он старался утопить свою безысходность в болтовне и разных пустяках. Какое счастье, что в буфете был автомат-бильярд; когда он склонялся над его жужжащей, вспыхивающей поверхностью с желобками и лунками, сдавливающая грудь тяжесть отпускала, боль притуплялась. Он был благодарен отцу, что тот придумывает себе столько ненужных дел в Олинджере. С каждым днем они все дальше отодвигали минуту, когда приходилось садиться в машину и ехать вдвоем по пыльному проселку в недра темной фермы, где светит одна-единственная керосиновая лампа, она ждет их за обеденным столом, и в ее свете еду накрывают тени, еда отталкивает, пугает.

Он потерял интерес к чтению. Боялся, что опять рухнет в пропасть. В детективных романах люди умирали, точно никому не нужные куклы; в научной фантастике их совокупными усилиями расплющивали бесконечность времени и бесконечность пространства; даже у Вудхауса Дэвид ощущал неискренность, тайную горечь в его желании отвернуться от реальности, горечь, которая прорывалась наружу, когда он создавал комические персонажи своих никчемных священников. Веселье словно скользило по тонкой пленке, под которой была пустота. Минута тишины словно бы притягивала холодный ужас.

Они с отцом умудрялись удирать с фермы даже по субботам и воскресеньям, а когда все же оставались изредка в субботу дома, то что-нибудь разрушали: снесли старый курятник, сожгли срезанные ветки живой изгороди, огромный костер чуть не перекинулся на лес, мать кричала и махала руками. Работал отец самозабвенно, с неистовым азартом; когда рубил доски старого курятника на растопку, щепки летели в стороны, как шрапнель, а головка топора, казалось, вот-вот слетит с топорища. Забавно было смотреть на него: он обливался потом, чертыхался, втягивал скопившуюся в уголках губ слюну.

Занятия в школе кончились. Отец стал ездить в противоположную сторону от Олинджера — на строительство шоссе, куда его наняли на лето табельщиком; и Дэвид остался словно на необитаемом острове среди расстилавшихся акров зноя, зелени, летящей пыльцы и странного, механического гудения, которое невидимым слоем лежало на сорняках, люцерне, пожухшей траве.

В день пятнадцатилетия родители подарили Дэвиду «ремингтон» 22-го калибра, сопровождая подарок шутками, что вот он теперь деревенский житель. Хождение с винтовкой в лес к заброшенной известняковой печи, где раньше обжигали кирпич, а теперь они сваливали там свой мусор, почти заменяло ему бильярд-автомат: он ставил консервные банки на припечье и сбивал их одну за другой. Он брал с собой щенка, который стал длинноногим подростком с густой рыжей шерстью — в нем была примесь чау-чау. Рыжик терпеть не мог выстрелы, но Дэвида любил и бегал с ним в лес с удовольствием. Услышав резкий, отрывистый треск, он начинал в ужасе носиться вокруг Дэвида суживающимися кругами и наконец, весь дрожа, прижимался к его ногам. Дэвид продолжал стрелять или опускался на колени и успокаивал щенка — смотря какое у него было настроение. Успокаивая Рыжика, он немного успокаивался и сам. Собачьи уши, в страхе прижатые к черепу, были вылеплены так искусно, так — он с трудом подыскал слово — уверенно. Из-под ошейника с металлическими бляшками торчала шерсть, и можно было рассмотреть каждый волосок, у корня он был мягкий и белый, кончик черный, а вся длина между корнем и кончиком медно-рыжая, из-за чего пес и получил свое имя. Рыжик взволнованно дышал, шевеля изящно вырезанными ноздрями, они напоминали две зажившие раны, две прелестные замочные скважины в черном с зерненой поверхностью дереве. И в этом свернувшемся в кольцо теле с тугим переплетением мышц и изумительными суставами было не счесть таких совершенств. А когда Дэвид вдыхал запах собачьего меха, он словно бы спускался вниз сквозь четко отделенные друг от друга слои земли: перегной, почва, глина, сверкающие породы минералов.

Но когда он возвращался домой и видел расставленные на низких полках книги, возвращался и страх. Четыре несокрушимых тома Уэллса, точно четыре тонких кирпича, зеленый Платон, озадачивший его своей непривычной деликатностью и запутанной отвлеченностью, умершие Голсуорси и Элизабет, гигантский словарь дедушки, дедушкина Библия, его, Дэвида, Библия, которую он получил, став членом лютеранской общины Файртауна, — при виде их вновь просыпалось воспоминание о том страхе, и страх снова охватывал его. От этого страха он тупел, деревенел. Родители пытались как-то его отвлечь.

— Дэвид, у меня есть для тебя работа, — сказала однажды мать за ужином.

— Что еще за работа?

— Если ты будешь разговаривать со мной в таком тоне, лучше вообще не разговаривать.

— В каком тоне? Никакого тона не было.

— Бабушка говорит, в сарае развелось слишком много голубей.

— Ну и что? — Дэвид посмотрел на бабушку, но она сидела, уставившись на огонь керосиновой лампы с обычным своим выражением недоумения.

Мать прокричала:

— Он спрашивает: «Ну и что?»

Бабушка резко, раздраженно дернула скрюченной рукой, будто собирала силы для ответа, и произнесла:

— Они мебель загадили.

— Это правда, — согласилась мать. — Она волнуется из-за нашей старой олинджерской мебели, которая нам никогда больше не пригодится. Дэвид, она меня уже месяц донимает этими несчастными голубями. Хочет, чтобы ты их перестрелял.

— Не хочу я никого убивать, — ответил Дэвид.

— Мальчик весь в тебя, Элси. Он слишком хорош для этого мира. Убивай или убьют тебя — вот мой девиз.

Мать громко проговорила:

— Мама, он не хочет.

— Не хочет? — Старческие глаза расширились, словно от ужаса, культя медленно опустилась на колени.

— Да ладно, — буркнул Дэвид, — перестреляю я их, завтра же перестреляю. — И от того, что решение принято, он почувствовал во рту приятный свежий вкус.

— А я еще думала, когда работники Бойера набивали сарай сеном, до чего же он похож на голубятню, — зачем-то сказала мать.

Днем сарай был маленьким островком ночи. Щели в рассохшейся дранке на высокой крыше горели, точно звезды, а балки, стропила и лестницы казались, пока глаз не привык к темноте, таинственными ветвями заколдованного леса. Дэвид вошел в тишину сарая, держа ружье в руке. Рыжик отчаянно скулил возле двери, он боялся ружья, но не хотел расставаться с Дэвидом. Дэвид тихо повернулся к нему и приказал: «Ступай домой», закрыл перед псом дверь и задвинул засов. Дверь была сделана в воротах, высоких и широких, во весь фасад, чтобы могли въезжать фургоны и тракторы.

В нос ударил запах прелой соломы. Этот запах, кажется, пропитал и красный диван под загаженным голубями брезентом, утопил его в себе, похоронил. Пустые лари зияли, точно входы в пещеру. На гвоздях, вбитых тут и там в толстые доски стен, висели разрозненные остатки ржавой фермерской утвари: мотки проволоки для ограды, запасные зубья бороны, штык лопаты без черенка. С минуту он стоял не шевелясь; ему не сразу удалось отличить гульканье голубей от шума собственной крови в ушах. Но когда он наконец смог вслушаться в голубиное воркованье, оно целиком заполнило обширное пространство сарая гортанными руладами, вытеснив все остальные звуки. Голуби сидели высоко среди балок. Свет проникал в сарай только сквозь щели в дранках кровли, сквозь грязные стекла оконцев в стене против входа и сквозь маленькие, не больше баскетбольного мяча, круглые проемы под самой крышей в боковых каменных стенах. В одном из этих проемов, в стене, обращенной к дому, появился голубь. Он влетел снаружи, хлопая крыльями, сел, обрисовавшись четким силуэтом на фоне клочка неба, сжатого окружностью проема, и принялся оглаживать клювом перья, курлыча нежно, гортанно и призывно. Дэвид сделал четыре осторожных шага к лестнице между двумя столбами, устроил ружье на нижней ступеньке и навел прицел на крошечную беспечную головку. Хлопок выстрела, казалось, раздался возле каменной стены у него за спиной, голубь почему-то не упал. Однако и не улетел. Птица закружилась в круглом проеме, кивая головкой, будто горячо с чем-то соглашалась. Дэвид быстро передернул затвор и начал целиться еще до того, как вылетевшая гильза со звоном подкатилась по доскам пола к его ногам. Он опустил мушку прицела чуть ниже, к грудке птицы, и, весь сосредоточившись, стал ровно, с безупречной плавностью давить на курок. Пальцы медленно сжимались, и вдруг пуля вырвалась. Мгновение он сомневался, но голубь стал падать точно комок тряпья, скользя по внутренней стене, и опустился в солому, устилавшую пол сеновала.

Теперь голуби взлетели с балок и шумно заметались в полумраке, неясно мелькая и оглушительно хлопая крыльями. Они будут пытаться вылететь в проемы; он навел прицел на маленькую голубую луну и, когда один из голубей подлетел к ней, выстрелил — птица не успела пройти те десять дюймов каменной кладки, что отделяли ее от вольного мира. Голубь лежал в каменном туннеле, он не мог упасть ни внутрь, ни наружу, но был еще жив и поднимал крыло, застилая свет. Крыло опускалось, он снова поднимал его рывком, раскрывая веер перьев. Теперь никто больше не мог вылететь через этот проем. Дэвид кинулся в другой конец сарая, где была точно такая же лестница, и установил винтовку тоже на первой ступеньке. К этой амбразуре подлетели три птицы; одну он убил, две вылетели. Остальные снова расселись среди балок.

За балками, поддерживающими двускатную крышу, было пустое треугольное пространство, здесь-то они гнездились и прятались. Но то ли пространство было слишком тесным, то ли птицы не в меру любопытны, только Дэвид, глаза которого привыкли к пыльному сумраку, теперь различал, как маленькие серые комочки то выглянут, то спрячутся. Голуби курлыкали пронзительно, от их тревожно раскатывающихся тремоло, казалось, дрожит весь воздух в сарае. Дэвид заметил маленькое темное пятно головки, которая выглядывала особенно настойчиво; определил цель и навел туда дуло ружья, и, когда головка появилась снова, его уже изготовившийся палец спустил курок. С балки соскользнул ком перьев и шмякнулся с высоты на парусиновый чехол поверх чего-то из олинджерской мебели, а там, откуда выглядывала головка, в дранках образовалась новая звезда.

Стоя посреди сарая, уже вполне мастер своего дела, не нуждающийся ни в каких опорах для винтовки, он стал стрелять с плеча и убил еще двух птиц. Он чувствовал себя благородным мстителем. Наглые твари, смеют высовывать свои глупые головы из сумрачной, ветхой бесконечности под высокой крышей сарая, оскверняют его звездную тишину своим грязным трусливым существованием, так что ж, он отнимет у них жизнь, надежно спрячет в этой тишине. Чем он не творец? Эти слабые мерцанья и трепетанья, которые он так зорко подмечал в темных провалах между балками и в которые так метко попадал, — ведь каждое он превращал в целую птицу. Крошечный глазок, быстрый любопытный взгляд, блестка жизни, но едва он попадал в голубя пулей, тот превращался в труп врага, как превращается в цветок бутон, и тяжело падал последним паденьем.

Его мучило, как неудачно получилось со вторым голубем, в которого он стрелял, птица все еще поднимала время от времени крыло, лежа на камнях круглого проема. Он перезарядил «ремингтон» и, прижимая к себе винтовку, стал подниматься по лестнице. Мушка на конце дула царапнула его ухо, и он вдруг пронзительно ярко, будто на цветном слайде, увидел, как стреляет в себя и как его находят распростертым на полу сарая среди его жертв. Он обхватил рукой верхнюю ступеньку — гнилую шаткую перекладину, прибитую к столбам, — и выстрелил в голубя с тупого угла. Крыло сложилось, но удар, вопреки надежде, не вытолкнул птицу из амбразуры. Он выстрелил еще раз и еще, но маленькое тельце, такое легкое, легче воздуха, когда птица живая, все так же тяжело лежало в своей высокой гробнице. С того места, где Дэвид стоял, ему были видны сквозь проем зеленые деревья и коричневый угол дома. Весь облепленный паутиной, которая скопилась между ступеньками, он всадил в упрямую тень полную обойму — восемь пуль, и все впустую. Он спустился вниз, и его поразила тишина в сарае. Наверное, остальные голуби вылетели через другой проем. Ну и прекрасно, с него хватит.

Он вышел со своим «ремингтоном» на свет. Навстречу шла мать, и он не мог не усмехнуться, когда она отпрянула при виде дымящегося ружья; он играючи нес его в одной руке, с небрежной ловкостью опытного деревенского охотника.

— Дома все просто оглохли, — сказала она. — Что за пальбу ты тут устроил?

— Один голубь умер в этом круглом проеме, и я хотел выбить его наружу.

— Рыжик спрятался в углу за пианино и не вылезает. Я уж отступилась.

— По-твоему, это я виноват? Вот уж кто не хотел убивать этих несчастных тварей.

— Перестань ёрничать. Совсем как твой отец. Сколько ты подстрелил?

— Шесть.

Она вошла в сарай, он за ней. Она вслушалась в тишину. Волосы у нее были растрепаны, — наверное, из-за того, что возилась с Рыжиком.

— Теперь они вряд ли вернутся, — устало сказала она. — И зачем я поддалась на мамины уговоры, сама не понимаю. Они так мирно ворковали.

Она принялась собирать мертвых голубей. Дэвиду не хотелось к ним притрагиваться, и все же он подошел к сеновалу и поднял за еще теплые жесткие коралловые лапки первую убитую им птицу. Ее крылья распахнулись, и он растерялся: голубь словно был перевязан нитками и вдруг эти нитки разрезали. Он был совсем легкий. Потом Дэвид поднял того, что лежал у другой стены; мать подобрала трех, что упали в середине, и он пошел за ней через дорогу к южному склону небольшого пригорка, у подножья которого виднелся фундамент сарая, где когда-то сушили табак. Пригорок был слишком крутой, на нем ни сеять, ни косить нельзя, сейчас он буйно зарос травой и земляникой. Мать положила свою ношу на землю и сказала:

— Надо их похоронить, а то пес обезумеет.

Он опустил своих двух птиц на уже лежащих трех; тельца в гладком, лоснящемся оперении легко скользнули друг на друга.

— Принести тебе лопату? — спросил он.

— Принеси лопату себе, хоронить будешь ты. Ведь ты их убил. И выкопай яму поглубже, чтобы пес не добрался.

Он пошел за лопатой, а она двинулась к дому. И, против обыкновения, ни разу не посмотрела вокруг — ни на фруктовый сад, что был справа, ни на луг, лежащий слева, ее слегка склоненная голова будто окаменела, казалось, мать вслушивается в землю.

Дэвид выкопал яму в том месте, где не росла земляника, и стал рассматривать голубей. Он никогда раньше не видел птицу так близко. Перья оказались еще бóльшим чудом, чем собачья шерсть, потому что каждый волосок в пере был именно такой длины, какой требовала его форма, а перья точно такой формы и длины, какой требовал пернатый покров, идеально облегающий тело птицы. Его заворожили накаты геометрических узоров, перья то расширялись, росли и крепли, чтобы поднять птицу в воздух, то суживались, уменьшались и превращались в пух, который сохраняет тепло вокруг немой плоти. И по всей поверхности этой совершенной и все же словно бы возникшей без чьего-либо участия механики оперения играл беспечный узор окраски, на всех птицах разный, нанесенный в строгом вдохновении, с радостью, которая была ровно разлита в воздухе над ним и за его спиной. А ведь эти птицы плодятся миллионами, и их уничтожают как вредителей. Он бросил в разверстую благоухающую землю сизого, с грифельно-серыми наплывами широких полос, потом другого, сплошь крапчатого, в ритмичной игре серых и лиловых тонов. Третий был чисто белый, только грудка отсвечивала бледно-персиковым. Он положил сверху последних двух, еще мягких, податливых, и встал, и тут свивавшие его пелены спали, он каждой клеточкой, по-женски остро, ощутил наполнившее его счастье: казалось, возникшие из воздуха руки накинули на него ризы, защитившие уверенностью, что Господь, с такой безудержной щедростью расточающий Свое искусство на никому не нужных птиц, не погубит весь сотворенный им мир, не откажется позволить Дэвиду жить вечно.

1. *Вудхаус Пэлем Гренвилл* (1881—1975) — английский прозаик, поэт, драматург. [↑](#footnote-ref-1)
2. *«Зеленые дворцы»* — роман Уильяма Генри Хадсона (1841—1922), английского писателя и натуралиста. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Комрофф Мануэль* (1890—1974) — американский писатель. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Голсуорси Джон* (1867—1933) — английский писатель-реалист, автор знаменитого цикла романов «Сага о Форсайтах». [↑](#footnote-ref-4)
5. *Глазгоу Эллен* (1874—1945) — американская писательница. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Кобб Ирвин С.* (1876—1944) — американский писатель и киноактер. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Льюис Синклер* (1885—1951) — американский писатель-реалист, лауреат Нобелевской премии. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Элизабет* — псевдоним английской романистки графини Элизабет Мэри Рассел (1866—1941). [↑](#footnote-ref-8)
9. *«Очерки истории»* (1920) — работа Джорджа Герберта Уэллса (1866—1946), автора социально-фантастических и бытовых романов. [↑](#footnote-ref-9)
10. *«Машина времени»* (1895) — знаменитый фантастический роман Дж. Г. Уэллса. [↑](#footnote-ref-10)
11. См.: Лука. 23:43. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Линкольн Авраам* (1809—1865) — выдающийся американский государственный деятель, президент США (1861—1865), отменивший рабство. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ср. слова Христа: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лука. 14:26). [↑](#footnote-ref-13)
14. Ср.: «Иисус сказал ему: «Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь! Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоанн. 14:6). [↑](#footnote-ref-14)